
Елена ОСТРОВСКАЯ

ДЯДЯ КОЛЯ

Повесть

1

Дяди Коли давно нет на этой Земле. Но иногда под сенью больших деревьев и огромного летнего неба я кричу ему: «Дядя Коля, достань воробушка!» Он спускает с небес свои длинные-длинные прозрачные руки, наклоняет ко мне круглое прозрачное лицо в очках, и я вижу воробушка. Пестрая лохматая птичка на секундочку задержалась в полете. Интересно, он по-прежнему делает каждое утро гимнастику, соблюдает диету и хохочет? Или там не надо делать гимнастику?

Первый раз этот длинный человек попал в мою жизнь на кухне, вмещавшей веселую богемную жизнь моих родителей. Парадокс того времени — ничего нельзя и кушать нечего, даже заварки нет, стульев и тех счетное количество, а друзья и знакомые намагничиваются с завидной частотой и регулярностью. В тот вечер я тоже заглянула к родителям, неожиданно, как град в июне. Мне восемь лет, я учусь в интернате города Пушкина, иногда приезжаю к родителям без спросу.

Открываю дверь своим ключом. Темный коридорчик заполнен ароматом вина «Крымская роза» и дружным гоголом компании. Включаю свет, потому что боюсь наступить на кошек. Ко мне высыпает веселые молодые женщины и мужчины, частью знакомые, частью — нет. В голове раздается вечное бурчание моей бабки: «Гоп-компания в сборе». Под пристальными взглядами снимаю ботинки, пальцы застревают в пуговицах пальто.

— Ребята, Аленка пришла! — высоким мелодичным голосом объявляет мама. — Давай скорее, опять застряла в пальто?!! — подгоняет она, вина во всем мою медлительность.

Я и правда все время застреваю или застываю, вслушиваясь в голоса веселой компании, хвостиком убежавшей за мамой на кухню. Там будто ожидается какая-то еда. Наконец-то я победила пальто и почти сняла свои огромного размера ботинки. Как вдруг край глаза ухватил нечто, вернее, это ноги. Я вижу нелепые красные носки в зеленый цветочек, укороченные зеленые штанцы, дальше тоже штанцы, вот наконец показался вишневый свитер, ой, уже болит шея и хрустнуло в затылке.

Елена Александровна Островская родилась в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге. Окончила восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ. Автор ряда книг о тибетском буддизме и современных буддийских общинах. Публикации: Три Игора. Третий, воин; Тульский самовар // Крешатик. 2019. № 85. История КПСС: Лена, дай веник! // Артикуляция. Литературно-художественный альманах. 2018. Вып. 2. О рутинизации смерти. Лечить ветрянку стихами // Артикль. 2017. № 37 (5).

— Алена, нельзя так пристально разглядывать гостей! Встань ты уже! Сколько еще сидеть на корточках собралась?! Пойдем, тебя все ждут! — это уже папа вышел меня поторопить.

А в голове опять бабушкин голос: «Ага, ждут они, здрасьте, вы даже и не подозревали, что я приеду». Она всегда так ворчала, осуждая их за легкомысленность и жизнь вдали от собственных детей. Да, то была истинная правда: у меня имелся брат-погодок по имени Шандор. Он проживал у маминой мамы, а я — иногда у папиной. По выходным мы по очереди гостевали то у одной бабки, то у другой. И все у нас было вроде поровну и одинаково, с той лишь разницей, что учился Шандор в самой обычной школе во дворе своего дома-многоэтажки. А меня почему-то послали в школу-интернат с углубленным изучением иностранных языков. Однако все эти диковинные обстоятельства лишь усиливали мой интерес к этим людям, моим родителям.

Покончив с развязыванием шнурков, встаю, послушно иду, прижимая дерматиновую сумку к бедру и озираясь на зеленые штаны. Они тоже идут, причем близко к сумке.

А на кухне то как здорово! В свете торшера мини-собрание сидит и пьет вино под аккомпанемент своих собственных теней. Там вечные две Анны, Губков, какой-то странный пегий кучеряшка с конопушками, родители и... и... зеленые штаны стоят. Точнее, носки, штаны и кусок свитера. Вся компания в шуме своей молодости, смехе, шуточных пикировках и поочередных забавных рассказах. Они совершенно не отслеживают, что вытворяют их тени.

— Аленка, куда ты опять смотришь, дочка! Ребята, эта удивительная девочка умеет смотреть туда, где пересекаются параллельные прямые! — мама всегда умеет заинтриговать людей.

Компания хохочет и всматривается в меня. Я открываю свою уродскую дерматиновую торбу и достаю из нее сладкие булочки, свежий нарезанный хлеб и три яблока — все, что удалось прибрать в интернатской столовой. Я-то знаю, что у этих людей, моих родителей, едой не разживешься, а вечер долгий, уроки еще. Хотя нет, тут же решаю, что встану часиков в пять утра и сделаю их в пустой кухне, а потом успею как раз на семичасовую электричку до Детского Села.

Анны быстро-быстро множат булки на кусочки, яблоки на дольки, на хлеб мажется загадочная кабачковая икра. Почему это рыжее пюре называют «икра», десятилетиями оставалось для меня вопросом. Неужели кабачок переплавляется на нерест? В банке с надписью «Икра баклажанная» были хотя бы точки-косточки, будто драгоценные икринки, хрустевшие на зубах. Кабачковая не оставляла шансов для интерпретаций.

Компания оживилась — пьют кипяток, жуют булочки, каждому достался бутербродик и по кусочку яблока. Нахваливают девчонку-добытчицу. И тут откуда-то с потолка мне на голову вопрос:

— А сколько лет деточке? — голос с насмешкой.

Резко поднимаю голову и упираюсь глазами в колобка на длинной шее. Да-да, если бы колобку пришили торс Гулливера и снабдили повадками Шалтая-Болтая, то получился бы этот человек-каланча у стены.

— Восемь годиков деточке! — дерзко выкрикиваю туда в потолок.

— Какая язва! — парирует каланча в очках.

— Коля, отстань от нее, а то отделает под орех. Она с детства такая, с двух лет дитя улицы, — пытается примирить нас мама.

Каланча наклоняется, приближает ко мне свое лицо и смотрит безразличным взором рептилии.

— Можешь звать меня дядя Коля, привезу тебе в следующий раз куклу или мишку, — каланча снисходительно улыбается.

Я молчу, набрав воздуха в щеки, надуваюсь. Он решительно мне не симпатичен. Меня выпроваживают готовиться ко сну. Ухожу в единственную в этом доме комнату, вытаскиваю раскладуху из-за шкапа, обдумываю план мести: «Коля, значит, куклу или мишку, ну погоди у меня...»

Утром встаю в пять, я всегда умела пользоваться внутренними часами. Проскальзываю в ванну. А там счастье — радостный горячий душ, полотенце пахнет лавандой, квасцы. О, эта поэтика маминых коробочек с блестящими крышечками. Долго красуюсь у зеркала, многократно поздравляю себя с этой красавицей в отражении и прекрасным утром. Перенюхиваю все до одной коробочки. Блаженство! Влезаю в школьную форму, крадусь в коридор за сумкой и, конечно же, наступаю на спящую Ваську. Вопль «мау», наклоняюсь и получаю пощечину меховой лапой, но без когтей. Вася не злая. А я, приободренная, смело иду на кухню.

Открываю дверь, буквально впрыгиваю на стул за высокой мойкой со столиком. Быстро достаю тетради, учебники, ручку, забываюсь.

— Ты хоть гимнастику сделала, булка? — тишину разрезает незнакомый голос.

Поворачиваю голову влево. Ата! Оказывается, все это время там на полу, свернувшись в баранку, спала вчерашняя каланча. Смотрю на него. Лысая голова маленького размера, на которую секунду назад длинная рука надела очки. Глазки просто две точки, нос картошкой, уши торчком. Кого-то он мне напоминает...

— А тебе не говорили, что взрослых разглядывать неприлично? — произносит он как будто немного растерянно.

Он лежит в три погребели на одеяле, расстеленном по полу, голые ноги торчат из-под огрызка простыни, без волос, глаза в роговой оправе, ухапаны. И еще вопросы ставит. Аха-ха-ха! Тихо сползаю со стула, задыхаясь от смеха. Каланча в ярости. В один ловкий прыжок он вскакивает и цепляет меня за ухо. От боли я прихожу в себя немедленно и сильно щиплю его за руку, пальцы разжимаются.

— А детей разглядывать прилично, да? Ты кто такой? — ору, возмущенная.

Я опять вижу только голые ноги и торс в обмотке простыни.

— Древний грек и юная отроковица! Схватка поутру на кухне. Иди-ка ты, Коля, в душ. А ты, Алена, срочно собирайся, электричка ждать не будет, — это папа, разбуженный воплями, прерывает нашу схватку.

Отец уходит в комнату. Я быстро выхлебываю свой кипяток и, страшно сердитая, шаркаю в коридор одеваться на выход. А там такая сладкая тишина раннего утра. Отец, видимо, опять лег спать. Тут же вспоминаю о распухшем ухе. На цыпочках прокрадываюсь к ванной. Дверь приоткрыта.

— За ухо еще ответишь, дядя Коля! — кричу каланче туда, в ванную.

Страшно довольная собой, быстро-быстро шнурую ботинки, набрасываю пальто и выбегаю на лестницу. Слышу звук захлопывающегося дверного замка за своей спиной. В следующие минуты я уже двумя, тремя, четырьмя пролетами ниже. В сером доме-точке спального района люди частенько застревали в лифте. А мне ведь к поезду успеть с девятого этажа вприпрыжку.

Месть — это блюдо, которое подают холодным. В набитом до отказа вагоне электрички, поддерживаемая со всех сторон плотной биомассой советских честных трудящихся, я прокручивала в голове коварные планы насчет этого Шалтая-Болтая. Вот он оказывался в душе, намыленный, и резко прекращалась подача холодной воды. Я, конечно, никто не иной, втихаря перекрывала воду в потайном месте. Ошпаренный каланча выбегал в коридор с мыльной пеной на лысой башке и слышал мой злоеший детский смех. Ну да, но как-то тут же становилось лениво от мысли, что придется сидеть в засаде. А хотелось спонтанно — так опаньки, и он в мыле осознает всю глупину своей мелкотравчатости. М-да, не вода и не мыло, нет, не подходит.

— Шушары, — сообщает вежливый голос из репродуктора вагона электрички.

О, точно, поймать крысу в Шушарах, а лучше сразу дохлую найти и подкинуть в его портфель. Крысу, конечно, без вариантов, будут звать Шушара. И тут до меня окончательно дошло, кого же напоминал мне этот самозванный дядюшка! Да, точно, конечно, — сильно подростшего Буратино. Нос картошкой здесь ни при чем. Буратино — это вообще не про нос! В голове быстро обозначались контуры плана мести. Кого-то из моих интернатских надо бы отрядить на поиски дохлой крысы по имени Шушары. Эти мысли меня сильно примирили со случившимся, да и вежливый голос репродуктора сообщил:

— Детское Село, город Пушкин.

Радостная я выскочила на перрон и буквально помчалась за автобусом, уже отъезжавшим от остановки. Трудящиеся набились в него так плотно, что маленькие дверцы не смогли закрыться. Круглый автобус скрипел и силился стронуться с места по скользкой мостовой. Добегаю, успеваю, чья-то добрая ручища втаскивает меня вовнутрь. Там темно, душно, биомасса тел сдавливает до дурноты. Но мне сладко от мыслей о скором нашем с каланчой будущем: «М-да, Николашка, ты у меня попляшешь, отольется тебе мое ухо, ух, отольется...» Во что оно там отольется, додумать я не успела, потому как надо было срочно выпрыгивать вон из автобуса. Усердно поработав руками и коленями — а только так в те утренние часы пик можно было выбраться из удущья советской близости человека, — я оказалась на остановке. И надо же, там же оказался и Марчевский.

Этот странный мальчик был моим одноклассником и однокамейником. Как и я, он подолгу сиживал в темной раздевалке на низенькой длинной скамейке, когда все уже либо ушли на прогулку, либо вернулись с нее в класс готовить домаху. Марчевский вечно пялился куда-то перед собой и улыбался. Иногда у него текла слюна. Если я не заныривала в свои фантазии, то могла спокойненько его рассматривать. В сущности, его лицо было даже красивым, просто без мимики и без эмоций. Иногда медитируя на Марча, я начинала думать, что он из папье-маше. Желая проверить свою догадку, я как-то дважды его пнула. Он даже не повернул головы.

Пробившись через толпу спешивших к первому трудовому звонку работяг и курсантов к Марчу, я с ходу поделилась с ним прекрасным планчиком. А план был таков: он добывает мне свежеуморенную крысу, а я ему — кулек конфет в вощенной бумаге, свернутой конусом. Последние слова вызвали в нем некоторое оживление.

— А если кулек развернется? — тихо выщеживая слова, спросил Марчевский.

Я заверила его, что все будет в наилучшем виде. Марч молчал и смотрел куда-то вдаль, прищулив правый глаз. Мы почти дошли до парадной двери интерната. Там уже собралась кучка одноклассников.

— Ну, Марч, по рукам? — спрашиваю торопливо, вдруг кто услышит.

— В пятницу с утра на скамейке. Каждый приносит свой паек, — прошелестел наконец человек из папье-маше.

Я не стала ему объяснять, что не собираюсь обедать крысой. Интернатское детство учило простым истинам. В свои восемь я уже хорошо понимала, что людям полезно знать мало. Это укрепляет деловые и дружеские отношения.

Остаток недели я блуждала в собственной черепной коробке в поисках идеи, где и как добыть конфеты. С вощеным кулем проблем особо не было. В советских магазинах их безвозмездно, то есть даром, выдавали по месту продажи сладостей. Но вот конфеты следовало покупать за деньги. А таковых мне не давали. План мести был на грани срыва. Выручила ничего не ведавшая тетя Паша, которая внезапно припожаловала проведать любимую девочку. То была папина приятельница, актриса-неудачни-

ца, работавшая экскурсоводом в Павловском дворце. Несмотря на свою экзотическую внешность, а Паша, между прочим, как две капли воды походила на Марлен Дитрих, она была одинока.

У Паши в гостях мы оказались совершенно случайно. Как-то раз зимой папа забрал меня из интерната и зачем-то повез в Павловск. Там мы долго гуляли в белых сугробах в человеческий рост, мой тогдашний рост. Кидали снежки друг в друга, катались на санках. Точнее, это я каталась, а он тащил. Потом по очереди с горы. Когда сдавали сани обратно в прокат, добросердечная дамочка в окошечке строго спросила папу, отчего вся моя одежда в ледышках. Мы с отцом переглянулись, я посмотрела на себя и ужаснулась. Правда, вся облеплена обледенелым снегом. И, как всегда в такие моменты, вдруг стало нестерпимо голодно и холодно, а еще страшно нудно. И я начала ныть:

— Холодно-холодно, голодно-голодно, го-лод-но! Что скажет бабушка? Бабушка ведь твоя мать? Она — мама твоя? Папа, моя бабушка, мама твоя, что скажет? Холодно-голодно, голодно-холодно, руки ледыхи, пальцы ног перестаю чувствовать... очень холодно, оч...

— Я немедленно звоню во дворец Паше!!! — визг отца прерывает мой нудеж.

Меня прямо подмывало спросить, уж не императору ли? Промолчала, все-таки перспективы покушать и горячий чай мне безусловно imponировали. А папа с его особым чувством юмора. Не-не-не. Побежали на автобус. И вот мы уже у двухэтажного особняка, звоним в дверь. Никто нам ничего не открывает. Еще звоним, опять никто. Опять звоним, опять тишина. И вдруг странное — мой миниатюрный папочка поворачивается спиной к старинной чугунной двери и начинает остервенело стучать каблуком сапога в ее нижнюю часть. Я даже рот открыла.

— Алена, мне очень трудно производить эти громкие звуки! Прекрати на меня пялиться, пройди под второе окно и крикни: «Паша, Паша, выходи!»

Как замороженная я пошла сквозь сугроб к указанному окну и стала истошно вопить про Пашу. Не прошло и двух минут, в окне показалось хорошенькое личико какой-то небесной, как мне тогда померещилось, красавицы. Она помахала мне батиновым платком. Еще через минуту дверь открыли, и отец почти ввалился внутрь, так и не успев развернуться. Я шмыгнула вслед. Мы стояли у парадной лестницы, а королева веничком стряхивала снег с отца. О, да, во времена моего детства снег наваливал огромные сугробы, люди покупали веники и отряхивали ими одежду вновь пришедших с улицы. Действо сие создавало удивительное сказочное настроение. С ним сравниться могло лишь купание ковров в свежеснежавшем снегу с последующим их побитием плетеными палками. О, какими прекрасными мне казались эти выбивалки из ротанга. А ковер, занырнувший в белизну снега, становился вдруг ярко-вишневым...

Мы уже на втором этаже, переодетые, пьем чай и кушаем бутерброды с сыром. С удивлением разглядываю стены, завешанные портретами королевы, оказавшейся Пашей. Изучаю эти картины, понимаю, что это — фотографии. Никогда прежде не доводилось мне видеть черно-белые фотографии размером с полстены, да еще и в золотой, музейной раме. Мои родственники, как и все советские люди тех времен, боролись с пошлостью и буржуазностью. Жертвами того неравного боя становились шкафы из красного дерева, старинные китайские вазы, безделушки ушедших эпох. Их следовало выносить на помойку и заменять на новую мебель из ДСП и хрусталь и стекло.

Спрашиваю, зачем тете столько своих портретов. Она смеется аж до слез. Потом приходит в себя и объясняет, что «на портретах — Марлен Дитрих — кумир». А Пашу, вообще-то, звали Паулина. Дождавшись, пока я дожую и допью, она приглашает прой-

ти посмотреть комнаты. В ее квартире множество комнат. Заходим в одну, а там — настоящий будуар. Долго сидим и болтаем у трюмо, Паулина показывает разные безделицы, украшеньица. Потом достает флакон с ноготок, открывает и душит меня. Дальше берет пудреницу и заячий хвостик. Поймав мой взгляд, улыбается, она дарит мне этот хвостик. Паша меня кружит и кружит. И вот уже хоровод желтых листьев вокруг нас...

— Лена, тетя Паша ждет тебя рядом со входом на улице. Пойди переоденься, — воспитательница сообщает о внеурочном приходе моей названной тетушки.

Возвращаюсь из бытовки, воспитатель продленного дня уже ждет меня. Она причесала мои волосы и переплела косу. Накидываю пальто, выхожу. Хрупкий силуэт, будто вырезанная из копирки черная фигурка. Тетя Паша машет мне с другой стороны улицы. Перебегаю, беру ее под руку, и мы несемся рысью в сторону завораживающего мира взрослых. Забежали в кафешку, выпили по кофе глясе и немедленно на просмотр нового фильма, вчера привезенного в кинотеатр города Пушкина. После фильма озвучиваю Паше просьбу о кулке конфет. Она покупает два. Их заворачивают в приятную на ощупь вошеную бумагу. Конусом. Я довольна, счастлива. Возвращаемся. Оборачиваюсь в дверях школы. Удаляющийся силуэт на фоне белых деревьев с темными стволами. Обернулась. Поднялась рука-веточка. Паулина стала точечкой. Паулина исчезла. Мне холодно, счастливая, мчусь в бытовку прятать трофей.

В пятницу на перемене после второго урока спускаюсь в раздевалку. Иду вдоль черной квадратами решетки. Издали вижу свет в нашем отсеке. Приближаюсь. Марч уже сидит, и давно, судя по застывшей улыбке. Кладу ему ладонь на макушку. Он не оборачивается, но приподнимает правую руку, в которой мешок на веревке. Кладу кулек рядом с ним слева. Его правая рука разжимается, я ловлю падающий мешок почти у пола и на ощупь понимаю, что Шушара внутри.

Поздно-поздно в субботу открываю ключом дверь родительской квартирки. Везде свет. Из кухни слышится голос читающего. Быстро снимаю пальто и башмаки, проskalзьываю в комнату. Через стенку доносятся обрывки предложений. Вытягиваю раскладушку из-за шкафа, расстилаюсь, раздеваюсь, ложусь. В темноте слышу четче и текст, и реплики слушающих:

— Ребят, стойте, ведь она запрещена? Откуда? Правда, откуда? Коль, ты привез? — кто-то вдруг перебивает читающего вслух.

— Ага, но оставить не смогу, — отчетливо различаю голос каланчи.

— Хватит, тихо, читай дальше, поздно уже, — отец останавливает вопросы. Кто-то продолжает читать:

— «...в течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастика. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вн...»

Мои глаза закрываются, ощущение, что вишу в гамаке над раскладушкой. По обыкновению, просыпаюсь в полшестого. Меня подбросило от понимания, что он, вероятно, на кухне. Крадусь прямо в ночнухе в коридор. Осматриваюсь. Каланча точно все еще тут живет. Все признаки налицо: гигантские ботинки сорок шестого размера, а вот его глупый желтый портфель. Портфель! Бинго! И в эту же секунду мой план наконец-то обретает искрящуюся завершенность. Я быстро вынимаю из своей сумки мешок с Шушарой, открываю портфель несносного Шалтая-Болтая и вытряхиваю в него крысу. Закрываю и опрометью обратно на раскладушку под теплое одеяло спать.

— Се-ре-жа! Ли-и-нда! А-а-а! — кто-то истошно визжит в коридоре.

Окончательно просыпаюсь и по возне и воплям в коридоре понимаю, что сюрприз каланчой обнаружен. Родители тоже пробуждаются. Первым туда спешит отец. Слы-

шу, как он что-то кричит непонятное. Вбегает, призывает маму. Она нехотя встает и плетется в коридор. Слышу ее высокий голос:

— Коленька, ну, она же кошка! Нет, Коля, нет, не могу позволить тебе убить мою Васю.

Я затаилась и похолодела. Мне было отчетливо ясно, что каланча, если что, меня не пощадит. Притворяюсь спящей и засыпаю.

Мое последнее пробуждение уже не застает дома ни Коли, ни мамы. Отец встречает меня на кухне, в коридоре нестерпимо пахнет кошачьей мочой. Расспрашиваю, что случилось. Отец меланхолично объясняет, что Николай зачем-то носит крысу в портфеле. Кошка Васька пыталась, видимо, эту крысу извлечь. Сильно подран импортный портфель. Не смогла открыть и написала Коле в ботинок.

— Бедный, бедный Николай, французский желтый портфель, ботинки только вот купил на две зарплаты, — в папиной интонации слышались нотки иронии.

Иду в душ, меня переполняет, хочется улететь пузырями в потолок. Принимаю решение сделать пятнадцать обливаний ледяной водой из ведра. Надо как-то узнать детали. Дошло ли до Буратины мое послание? На седьмом ведре меня осеняет. Немедленно прекращаю эту дрызготню, включаю душ. Все быстро, никакой замедленной съемки и плавных движений перед зеркалом. Отец может убежать в библиотеку. Румяной девчонке в зеркале я лишь улыбнулась и помахала ладошкой.

Выхожу, усиленно шаркая тапками, чтобы у отца было полное ощущение моей небрежности, эдакой воскресной беспечности.

— Алена, да отрывай же ты тапки от пола! Невыносимый звук! — он явно не в духе.

На кухне приятное запустение, солнце в окне, на столике крепкий чай в стакане и зеленый горошек. Папа теплеет, поймав мою улыбку при взгляде на горошек:

— Спас для тебя от Васьки, кошка хотела всю банку съесть.

Присаживаюсь, пью чай, хвалю искусность заварки, ем горошек и произношу долгое «о-о-о». Отец смотрит на меня пристально. Говорит, мол, больше ничего нет, и, вероятно что-то принесет после своего похода в воскресную Публичку. Сбиваю его вопросом:

— Па-а-па, а что, у мамы два братика?

Он, начавший было поворачивать в сторону выхода, резко вздрагивает.

— Что с тобой? Ты опять? Какие братики? — смотрит сердито.

Я, довольная, продолжаю:

— Как какие? Старший — Стасик, маленький, кругленький толстячок. Младший — длинный-длинный, Степа зовут, кажется? — делаю глупейшее лицо, давно перед зеркалом натренированное для таких случаев.

Бедный папа глубоко и обреченно вздыхает, присаживается обратно на табурет и смотрит мне прямо в глаза:

— Алена, у твоей матери есть только один-единственный единоутробный брат. Его зовут Анастас, он известный физик, крупный изобретатель. Какой второй брат? Где ты его видела? Где? Почему я сейчас должен тут сидеть и осмыслять твои нелепые выдумки? Ответь! Как трудно, как тяжело быть отцом! Я ведь никогда-никогда себе этого не желал! — его голос становится тонким и грустным.

Смотрю на него внимательно и добавляю про себя, не вслух, конечно, любимый всхлип моей бабушки: «о, вз-э-э!» Такие привычные, занудные песни. Пережидаю, скоро будет пауза, и он начнет горевать молча. А вот и пауза.

— Папа, а разве не моего дяди Степы, кажется, портфель намочила кошка Василиса?

Отец поднимает голову, пристально смотрит на меня синими глазами. Он будто ищет во мне признаков адекватности. Опять печально вздыхает и начинает говорить препротивным голосом, ускоряя темп речи от слова к слову:

— Почему в воскресное утро я должен выслушивать подобные инсинуации? Николай Иванович — друг мамы. Они вместе учились в аспирантуре. Кстати, отличник учебы, кандидат наук, талантливый историк!

Но я не сдаюсь:

— А почему тогда историк Степа спит у вас на кухонном полу? Где его дом?

Отец немедленно становится пунцовым, губы поджимаются, следующие ответы он чеканит со зверским выражением лица.

— Николай — преподаватель высшей школы, автор трудов! Он живет и работает в Витебске. Здесь бывает по делам. Заходит к нам. Что еще ты желаешь меня спросить сегодня утром?

— А можно я гулять пойду? — спрашиваю просто уже для проформы.

Отец сухо отвечает, что можно, вытряхивает из кошелька железные монетки. Спешно собирается и исчезает.

Дождавшись звука щелчка лифтовой двери, срываюсь и опрометью бегу в комнату. Судя по запахам, в маминном шкафу завелись новые душки! О, какой-то «Нуар», брррр, кошмарный аромат, сродни Васькиному гневу, излитому на желтый портфель. Душуь другими, осматриваю внутренности шкафа, нахожу интересный цветной паке-тик. Там записочка и вязаная шапочка, напоминающая своей формой шлем. От повисших шерстяных ушек идут завязочки. Дождалась меня, глажу ее, она странная, надеваю. В зеркале кто-то незнакомый, но невероятно симпатичный. Подмигиваю ей, бегу на кухню и заваливаюсь в глубокое кресло. Мне нужно все обдумать и сопоставить факты.

Вечером, вдоволь нагулявшись и навестив, по обыкновению, в одиночку кинотеатр, я вернулась в квартиру. Темно, никого, пахнет розой, лавандой, медом. Коридор и кухня освещены уличными фонарями, везде окна. Медленно, приставляя носочек к пятке, пятку к носочку, продвигаюсь в комнату. Игра света и бликов от соседских окон завораживает. Долго сижу в темноте единственной комнаты. Сижу напротив окна, разглядываю черные высоковольтные провода. Валит снег с небес, темно и фонари с их прекрасным желтым светом...

— Аленка, дочка, бедная! Спит прямо за столом! Пойдем, попьем с нами чаю! — мама стоит рядом, улыбается, снимает браслет с широкого запястья и кладет на пианино.

А на кухне привычная компания. Стол изумляет своим изобилием: виноград, лепешки, сыр, не виданные прежде белые пиалки с голубыми цветами, фисташки и какие-то длинные палочки вишневого цвета. Я вдруг понимаю, что очень хочу есть. Анны колдуют, раскладывают все по тарелочкам. Одна из них, огненно-рыжая, делает мне знак рукой, мол, обожди. Хорошо ждать с питанием, когда ты такая худая, кожа и кость. А у меня-то фигура! Терплю. Все присаживаются, мама в своем кресле с любимой Васькой на коленях. Мне достается скамеечка. Вкушаем.

Вскоре мама начинает рассказ, из которого я узнаю, что «поругание Колиных башмака и портфеля — это затравка. У Николая сегодня вообще особый день! Нет-нет, он уже в поезде в Витебск, завтра у него лекции с утра».

Оказывается, что, не получив разрешения прибить кошку портфелем, Шалтай-Болтай так и побежал в зловонном, мокром башмаке. Опаздывал на свиданку.

— Лучше бы уж и не ходил! Дама сердца, новенькая какая-то, не знаю ее, но накрыла стол, наготовила всего, ждала. Он приходит, цветы вручил, портфель открыл было... Сами понимаете, отвлеклись они, короче... Коля там в кровати потом досыпать остал-

ся, она в душ и приводит себя в порядок. А потом дурочка эта зачем-то забралась к нему в портфель. То ли он ей подарок обещал, то ли это бабское любопытство? Не знаю, — мама делает многозначительную паузу, улыбается.

— И, мама, и дальше, дальше! — не выдерживаю, уже скачу на своем деревянном пони.

— Алена, уймись, сейчас отдавишь мне ногу, ты ведь не Дюймовочка! — меня ошарашивает мамин сердитый голос.

— Линда, правда, друг любезный, не томи, чем закончилась эта воистину высокодраматическая история, — за меня вступается рыжая Анна.

Мама обводит нас всех глазами, улыбается и продолжает:

— Закончилось так, что Коля был пробужден прицельной артиллерией из шоколадных конфет. Его это особенно уязвило. Она вытащила у него из портфеля обе коробки шоколадных конфет, разорвала крышки и перекидала в него последовательно одну за одной! Представляете, Колька, бедный, голый, без очков, был заброшен шоколадными конфетами?! Кажется, «Белочкой», он сказал, и «Ассорти». Пока на ощупь искал очки, в него полетели бюстгальтеры и трусики ажурные — все из того же самого портфеля. Когда очки наконец оказались на носу, ему в лоб ударились дохлая крыса! — мама опять повесила свою паузу.

По мере продвижения перечислений народ начал тихо помирать от смеха, но на слове «крыса» воцарилось гробовое молчание. Я не смеялась. Я спросила строго:

— Мама, что за крыса?

Мама даже не поглядела на меня, смахнула с ресниц слезы смеха и, еле проговаривая слова от гомерической истерики, прохрипела:

— Та самая!

Повисла внезапная тишина. Я заметила, как переглянулись Анны. Рыжая пристально посмотрела на папу. Отец повернулся к ней боком и изумленно спросил маму:

— Линда Евгеньевна, а откуда у него крыса? Неужели ты еще и крыс прикормила? — его голос звучал неприятно, он назвал маму по имени-отчеству, что не предвещало ничего хорошего.

У меня пересохло во рту, язык прилип к небу, ладони стали совсем мокрые.

— Сергей Наумович, ну, зачем крыс? — мама обращается к отцу по имени и отчеству, но улыбается. — Живет себе маленький безобидный мышонок. Да, я даю ему еды. Но крыса — это ведь гепатит! Погоди вести допрос, у меня, между прочим, есть гипотеза на счет этой таинственной дохлой крысы. Только сначала дайте мне зеленого чаю! Анечка, по-моему, самое время отведать нам всем чая, что привезли твои родственники из Самарканда.

Рыжая Анечка выбежала на секунду в коридор и явилась обратно с большим свертком. Нечто было запрятано в вишневую ткань с белым узором. Аня положила сверток на подоконник и стала аккуратно его разворачивать. Первой показалась упаковка чая с диковинным по тем временам названием — «Зеленый чай № 95». До того вечера я пробовала лишь черный грузинский или черный индийский чай. Дальше она извлекла из свертка большущий брикет халвы и необыкновенный металлический чайничек. Эдакий мини-самоварчик. Незримая крыса зависла в воздухе, где-то высоко у потолка. Все поочередно вскакивали, чтобы увидеть, как Анна готовит заварку, быстро-быстро перебрасывая диковинный чайничек из одной тонкой руки в другую. Потом она разлила светло-зеленую жидкость по пиалам. В конце концов воцарилась мертвая тишина. Крыса спустилась ниже над столом, изображая нечто наподобие большого абажура. На короткое время о ней позабыли. Компания наслаждалась терпким чаем, каждый норовил успеть выцарапать побольше халвы чайной ложкой. Я брала ее прямо пальцами. Мне нравилось, как она отслаивалась и дробилась на крошки. Крыса зависла

на уровне наших носов, прямо в сантиметрах тридцати над столом. Мне уже было интересно, кто сдастся первым.

Халва закончилась, у всех пустые блюдца, в пиалках опивки зеленого чая. И тут мама начинает:

— Все думаю, какая же из трех его любовниц подкинула крысу? И знаете, уверена, на такое способна только Шуркина! Она старше прочих, у них долгосрочный половой роман...

Я слушаю с чрезвычайным вниманием, понимаю, что если он спит по полам, то и Шуркина тоже.

— Мама, эта Журкина тоже ходит спать к вам на кухню, на пол?

У компании начинается очередной заход в истерику. Испуганная раскатами смеха Васька дергается, выгибает спину, смотрит хмуро на стол. Там крыса. Васька спрыгивает с кресла на стол, минутку лижет поверхность в том самом месте, уходит. Стол пуст.

— И все-таки, как все это получилось? — на этот раз сдался отец.

— Сереж, смотри, помнишь, Коля пришел уже поздней ночью с пятницы на субботу? Так? Да. От Шуркиной был. Еще сказал, помню: «Расставаться надо, тяжелая стала». Дальше портфель стоял у нас. Утром он ушел и пришел под вечер. Потом поздно пришла Аленка.

На этом месте я сделала лицо очень хорошей девочки, взяла свою косу и начала ее заплетать-расплетать-заплетать. Меня никто уже не видел, все пытались отследить хронологию событий. Мама продолжала свое расследование:

— Перед отъездом Колька признался, что впервые привез небольшую партию нижнего белья, думал продать. Но так и не успел. Да и кто возьмет теперь с таким духом? — мама не спешила переходить к развязке.

Рыжая Анечка вдруг выпрямилась, сузила глаза и спросила:

— Линда, подожди, а сам-то Николай как объяснил дохлую крысу в своем французском импортном портфеле? Подумать только, какая гадость! Портфеля жаль, это же целое состояние! — на последнем слове она сделала какое-то непонятное мне ударение.

Мама взяла пиалку, долго всматривалась в чайники, будто читая там на донышке ответ.

— Ань, ну что он скажет-то? Считает, что мстит кто-то из девок его. В очередной раз обещал их проредить. Очень расстраивался из-за конфет. Даже сказал, что, мол, уж лучше бы вашей дерзкой Булке их скормил.

А вот этот поворот сюжета мне совсем не понравился! Кричу в бешенстве:

— Почему твой Коля носил ее целый день в портфеле? — выскакивает из меня предательский вопрос.

Мама пристально смотрит и отвечает:

— А он не носил, а принес ее от Шуркиной... Алена, шла бы ты спать, поздно уже...

Лежа в темноте на раскладушке, я непрерывно вглядывалась в блики света на стеклянных тюльпанах люстры. Под утро мне приснился длинный человек в очках. Он сидел на кровати с голым торсом, баюкая на руках крысу.

2

С того вечера прошли зима, весна, мой день рождения тоже миновал. Я стала забывать, да и откуда взяться памяти в возрасте бессмертия? В одном дне целая жизнь. И время не течет, а стоит толщей огромного озера. Озера после дождя. На него смотришь из окна деревянного домика, а с небес дождь стегает озеро. Стегает и хлещет под наклоном. И в медитации безвременья вдруг замечаешь, что озеро застыло. Замерла картинка, замерзла. А другие дети, оказывается, тоже заметили, началась кутерьма,

беготня с этажа на этаж: «Эй, эй, видели? видели? там озеро! там озеро! озеро замерзло!» И кажется, что даже стены корпуса летнего детского лагеря перемещаются. Лишь озеро одно безмолвствует. Дождь давно закончился, а озеро все спит. А мы уж выбежали из корпуса-барака греться на ласковом летнем солнышке. Отвлеклись, забыли, а на озере снова жизнь — вода пришла в движение. С таким чудесным ощущением сравнимо лишь исчезновение сильной мигрени.

Все следующие разы дядя Коля напоминал о себе книгами. Да а как иначе? Я вообще не появлялась у родителей после возвращения дедушки и бабушки из военного санатория. Зато родители частенько приезжали меня навестить. И вот раз, неделю спустя после дня моего рождения, явились оба. Прямо с порога крохотного коридора хрущевки мама объявила, что надо переговорить.

Мы уединились в телефонной комнате, где кресло, окно, древний радиоприемник необъятных размеров. Она в кресле, я стою напротив. У нее в руках две книги: альбом и что-то. Альбом мама сопровождает следующими словами:

— Алена, ты совсем ничего не читаешь, а нам должно быть о чем говорить друг с другом. Если ты выучишь все картины альбома, у нас появятся общие темы.

Когда она это произнесла, мне поначалу показалось, какая странная заявка. Что значит выучишь? Я прекрасно знала картины разных Брейгелей. Они мне нравились. Но избирательно. Долгосрочной любовью того периода жизни был, конечно, Босх. Наше знакомство случилось в ленинградском Доме книги. Там на втором этаже, за левым поворотом открывался потайной зал карт, плакатов, открыток и странных ненужностей. Разрешалось все трогать руками и часами висеть над понравившейся гравюрой или открыткой. Я уже год, как ездила сама из Пушкина в Ленинград. Мои маршруты были никому не ведомы. И чем дольше зависала я в Доме книги, тем шире открывался мне мир причудливых любителей картинок. Мы начали здороваться и даже порой без поворота головы обмениваться репликами. Потом прошло еще и еще время, мир картинок обесцветился, став известным до последней черточки. Настал момент прощания: я решила больше не приходить, потому что скучно. Но вот разве что в последний раз зайти погладить все странные штуки, бросить взгляд на любимые карты Африки. К открыткам лучше не приближаться. Но кто-то из моих друзей-по-воздуху махнул рукой: сюда, сюда! Думаю, не хочу, но иду. А там — там шок, провал, падение с невероятной высоты. Там — Босх. Сколько часов я тогда простояла над картинкой? Как смогла уйти? Как вернулась в эту реальность? Правда, не знаю!

Открываю мамин альбом — Брейгель-старший! И сразу попадаю в башню. Альбом встретил меня Вавилонской башней. Какой странный рушащийся Колизей, но нет ни греков, ни любимых спартанцев. Нет, то не Колизей. Башня из него прорастает в небесную высь. А что, что, что? Мама взяла меня за плечи. Оказывается, я кричу свой вопрос. Заглянула в глаза:

— Подожди, тут еще... еще Алиса! — мамин голос напряжен.

Она силой забирает у меня альбом, вкладывает в разжатые пальцы толстую книгу. Сиреневая обложка залита чернилами. Там в винном свете девочка с длинными волосами. Может, принцесса?

— Алена, да подожди ж ты, подожди хоть секундочку! Мне сказать надо, — мама повышает голос и кладет ладонь на обложку книги.

Смотрю на ее руку, становится невыносимо душно. Хочу лишь одного, чтобы она ушла. Мне надо туда, мои стопы уже в тени другого. Сбрасываю мамину руку, ловким движением прижимаю книгу к диафрагме. Не отдам, уходи. Смотрю исподлобья. Мама улыбается, в зеленых глазах чертики:

— Я только хотела сказать тебе, что обе книги тебе в дар от Коли. Он так мне и заявил «Не пожадничай, отдай девчонке. Булке надо».

Но я уже ничего не слышу, жду, чтобы просто ушла. Вижу дверь закрывается. Падаю в кресло и проваливаюсь к Алисе на берег. Дальше там кролик, нора, полет... Бабушка заглянула, просит проводить родителей, они убывают. Кричу ей, что не могу, не выйти сейчас из Зазеркалья. И вот уже три головы в дверном проеме: бабуля, отец, мама. На секундочку отрываюсь, мельком оцениваю диспозицию, громко хриплю, мол, позже, потом, пока.

А дядя Коля частенько наведывался в Ленинград из своего Витебска. Он приезжал поработать в Публичку, иногда почитывал лекции на вечернем истафе. В том коммунистическом респектабельном храме никто не подозревал, что Коля таскал в столицу разные вещички на продажу, подторговывал дефицитом и книжками. Он мог раздобыть все, даже из эмигрантского добра. Книжки ему заказывала половина интеллигентного Ленинграда. Другая половина тесного кружка писателей из кочегарки и читателей из-под полы брала почитать у первой. Сколько всего прошелестело через мои глаза! Мама, пришедшая меня навестить, взахлеб читала фотокопии, перепечатки, книжки. Читала, сидючи за обеденным столом. А я, хитро примостившись сбоку, вроде как ее обнимаю. Чего мне стоили все ее Доны Хуаны, Лолиты, Улисссы. Голова потом пару дней смотрела только влево, шея болела, хотелось продолжения. Я сердилась, потому что никогда не знала ни начала, ни завершения этих впечатляющих историй.

И как-то раз случилось вот что: в субботу вечером у нас болтают, смотрят телек, шутят, нахваливают бабулины разносолы. Мама почему-то отдельно. Сидит на стуле, читает. Нервничает, тербит волосы. Мне интересно, но мое место строго на диване. Помогаю разносить чай, заглядываю к ней через плечо. А там девы в локонах и лица в огурцах. Дальше я так истошно просила, что мама отдала мне книгу на почитать два часа перед сном. И я читала упоенно. Мне, конечно, не терпелось вымазать на себя все клубники, абрикосы и помидоры, замереть перед зеркалом с кружками огурцов под глазами и выбеленным лицом. Книжка была мной припрятана за кроватью, я спокойно уснула.

Внезапный свет, разъяренная мама трясет за плечо:

— Алена, где книга? Немедленно отдай! Немедленно!

Я глупо улыбаюсь, сбрасываю ее руку с плеча, укладываюсь обратно. Мать багровеет, просит всех выйти. Вздвигнутые старики выходят, но прилипают к двери с той стороны. Слышу их вздохи. Мама присаживается на стул и тихим холодным голосом объясняет:

— Тебе придется отдать мне книгу. Сегодня вечером я должна ее вернуть, в противном случае кое-кому не поздоровится.

Я тут же открываю глаза, подскакиваю и почти визжу:

— Кому не поздоровится ночью без маски красоты?

Мама смотрит пристально, молчит. Собралась, вновь чеканит:

— Лена, все книги, которые ты сама регулярно заказываешь, и те, что читаешь, заглядывая мне через плечо, привозит Коля, дядя Коля. Но некоторые ему не принадлежат, их надо возвращать в срок. Я хочу, чтобы у Коли все было хорошо. Просто верни книгу.

Я засовываю руку за бортик кровати, достаю мой несбывшийся волшебный взрослый мир. Она забирает, выключает свет, уходит. Молча уходит.

3

Наши частые с Колей пересечения начались лишь с воссоединением семьи в новой квартире на краю мира, именованного в ту пору деревня Купчино. Дальше тринадцатого дома по Малой Карпатской находились только лес да женская колония.

От метро туда тащился один-единственный автобус. Он ехал и скрипел, рискуя потерять на поворотах половину своего железного венгерского тела. Вечно вне расписания долгожданный бус пробирался сквозь дебри запустения и огромных пространств, не принимавших деревья и кусты. Особо за пределами здесь становилось зимой. Возвращаться поздним вечером после занятий в художественной школе приходилось через пустырь. Весь путь был покрыт ледяной коркой. Бесплодная купчинская земля заросла ныне бурьяном высоток, торговых центров, «Пятерочек» и прочей снастью спального района. Теперь там инфраструктура.

А вот во времена живого Коли там были только грязи, хляби, по которым где-то проходил трамвай, а где и асфальт. Но асфальт редко. В первый же свой визит я застряла около дома, поскольку ливень подтопил дорогу, сделанную из глины, бетона и цемента. Сапоги безнадежно увязли. Я стояла как вкопанная у подъезда чучела-многоэтажки и тихо скулила, глядя на шестой этаж. Мимо проходил мужик в оранжевой каске и кирзовых сапогах:

- Тонешь? — смеется. — Помочь или сама? — спрашивает человек с островка суши.
- Ага! — тоже смеюсь.
- А ты куда идешь-то? В гости или мимо проходила? — воззрется с любопытством.
- К родителям иду, вон в то парадное, сзади вас! Спасайте, ногам холодно!

Мужик протягивает огромную лапшу в картонной перчатке. Хватаюсь за протянутую руку-лопату и в мгновение ока попадаю на пяточок суши рядом с ним. Но лишь с одним сапогом. Мы еще пару минут обсуждаем возможность спасти сапог. Оба сожалеем о его гибели. В подъезд вхожу полубосая.

Дальше — больше, больше новья из разряда «мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем — тот станет всем». Два лифта — пассажирский и грузовой. Причем кататься можно на любом и в любое время. Выбираю грузовой до шестого этажа. Нахожу по номерам нужную квартиру. За тонкой бумажной дверью с одним замком простирается длинный коридор с лазурно-голубым линолеумом. Во всех комнатах пустота и гуляет ветер. В моей комнате есть раскладушка и две этажерки с книгами. В родительской спальне кровать, шкаф, стул и все. В комнате брата старое немецкое трофейное пианино, стены, окно. Пустовато и странно, а главное — ни души. Может быть, что-то найдется в холодильнике на ход ноги?

На кухне — плита и мойка, некий стол, диванчик и три табурета. В холодильнике очень светло и звеняще пусто. Единственное его содержимое — магнитофонные касеты — уныло смотрело на меня с самой нижней полки. Присаживаюсь на табурет к столу, а там записка «Алене». Из нее следовало, что мне надлежит дожидаться «комиссии, которая придет считать разнополых детей».

Гигантскую квартиру в деревне Купчино дала моему отцу Академия художеств. По длинной, многолетней очереди и во имя разнополых детей. Теперь Госкомиссия хотела удостовериться, что дети — мальчик пятнадцати лет и девочка тринадцати лет — не симуляция. До меня начинает доходить, что предъявить удастся только девочку. И вот в этот самый момент в дверь постучали. Поскольку я уже поняла, что в квартире никого нет, пришлось открыть.

За дверью обнаружилась дама-малорослик с очками на длинном носу, рядом мальчик лет пяти и каланча, в которой я сразу признала дядю Колю. Длинной рукой он быстро сдвинул меня в сторону и торопливо прокомандовал:

- Томик, заходи, дорогая, не мешкай! Котя, что застрял, разувайся!
- Вы трое кто? Комиссия? — спросила я строгим голосом и немедленно сердито подбоченилась.

Коля поправил очки указательным пальцем и сделал ответный ход:

— Булка, не хаами! — обратился он спокойным голосом.

Улыбается и наклоняется всем корпусом в мою сторону. Я изображаю на лице предельную хмурость и сообщаю, что велено мне ждать госнадзор за беглыми фарцовщиками, комиссия скоро придет, будет проверять паспорта и прописку.

— Вы, товарищи тунеядцы, располагайтесь, конечно, паспорта готовьте! — заявила я непримиримым тоном и удалилась к себе.

Коля, Томик и Котик не слишком напугались. Точнее, они просто не заметили меня. Подняли с пола свои кутули и пошли гуськом на кухню. Они там чем-то шуршали и стучали, что-то разворачивали и роняли на пол. Я легла, как была — в подбитом грязью пальто и в одном сапоге на раскладушку. Стала думать. Мне не давал покоя вопрос: а как же я сама докажу комиссии, что у меня есть прописка? И брата тоже нет. Может, сказать, что это долговязое существо и есть мой брат? А Томик и Котик — мои классмэйтс. Я задремала, а пробудил меня чей-то изумленный голос:

— Алена? Алена, ты почему в сапоге на кровати?

Открываю глаза, а передо мной отец и за ним некие граждане с папками. Закрываю глаза. Слышу женский голос:

— У нас в этом доме много подростков на учете. Вы, товарищ, не расстраивайтесь, ну в пальто спит, ну нога в иле, а вторая в сапоге. Так ведь домой пришла, не таскается по подворотням, — пожилая незнакомка в ушанке из серого кролика кокетливо поправляет выпавшую прядь.

— Что еще хотели бы посмотреть? — прерывает ее резким вопросом мой папа.

Процессия удаляется. Слышу звук закрывающейся входной двери.

Отец сразу заглядывает ко мне, просит снять пальто и сапог, помыть руки и за стол. Уже нестерпимо хочется кушать. А на кухне толпа: папа, трио из Витебска, мой любимый братик и друг братика. На столе разносолы, народ пьет чай и болтает. Брат машет мне, подзывает ладошкой. Я давно его не видела, наши свидания по выходным прекратились с момента моего убытия в интернат. А Шандор-то, оказывается, уже переехал к родителям и наслаждается свободной жизнью. Успел мне вкратце обрисовать диспозицию: родителей в доме не бывает, делай что хочешь и приводи кого хочешь. Вот только голодно, телевизора и телефона нет. Нашушукавшись, мы начинаем нашу привычную дикую игру под названием «передай по цепочке». На этот раз передаем короткий удар локтем в бок. Мне по очереди надлежит пихнуть в бок дядю Колю. Мальчишки давятся смехом. Смотрю на Колю: сидит такой довольный на табурете и рассказывает, что вот-де Томик холодец всю ночь на огне томит, потому что Котя любит, когда желе трясется. На этом прекрасном глаголе он получает от меня локоть под ребро. И тут происходит странное. В доли секунды Коля изворачивается, валит меня на пол и заламывает руку. Все вскакивают, орут каждый свое. Громче всех воплю я.

— Убивец! Убивец! — кричу и сама себе удивляюсь.

Так надлежало визжать, согласно технике безопасности, предписанной моей бабушкой. Делать сие, правда, вменялось в случае, если незнакомец приблизится ко мне на улице и предложит импортную жвачку или захочет подарить куклу. Это все — атрибуты злодеев-убийц детей. В жвачке, согласно расхожей советской легенде, находится бритва. Проглотишь — умрешь, потом расчленят. В кукле находится бомба. Возьмешь ее — взорвешься и сразу на куски! О, как же я мечтала встретить того знакомого и поболтать с ним. Задерживалась одна на площадке, когда мою банду пацанов мамы и бабушки зазывали со двора домой ужинать. Мне тоже кричал бабкин голос: «Аленка, кушать!» Но так хотелось увидеть атрибуты зла и этого таинственного Носферату с черным чулком на голове...

Меня подняли, посадили, дали водицы. Дальше отец долго-долго нудел, что дядя Коля — десантник, служил аж три года в армии, отличник по прыжкам с парашютом

и рукопашному бою, у него защитный рефлекс и прочие подробности убийца. Папа поблагодарил каланчу, что не убил девочку. Коля виновато улыбался и смотрел на меня своими гвоздиками сквозь лупы в роговой оправе. Я тоже смотрела на него и сообщала, какой выход теперь будет элегантным. Ничего так и не придумав, поплелась уныло в коридор, натянула пальто и сапог с комьями засохшей глины и песка, обвела всех взглядом. Пожелала им счастливо оставаться. Дошла до лифта, нажала кнопку и подумала, что все-все про них расскажу бабушке и дедушке. И больше сюда не приеду. Пусть тут Котики-Томики-Колики живут. От этой мысли стало воздушно легко. Ушла.

Уехала, доковыляла и даже не вспоминала потом о происшествии. Все, конечно, донесла, куда надо — до радиоточки «Бабушка и Ко». А точка регулярно транслировала сюжеты из жизни «гоп-компании» заинтересованным лицам из разных городов нашей той бескрайней родины. Да, именно так!

4

А когда я вернулась в Купчино, в пустой квартире и правда обнаружился лишь мой брат. Он показал мне все входы и выходы, тайные свои местечки и секретники, быстро свел с местной шпаной. Родителей в первый год воссоединения нашей странной семьи дома почти не бывало. А вот несносный Шалтай-Болтай появлялся тут частенько. И с ним уже надо было как-то решать.

Дядя Коля приезжал поздним вечером пятницы. Мать и отец, как две майские розы, с нетерпением ждали его на кухне, заранее добывался чай, варились страшные толстые макароны. Это советское мучное изделие не так-то просто было приготовить: чуть дольше поваришь, и получатся порванные пельмени с таким, чуть не доваришь — и смерть замужеству: они будут мягкими, но с вкраплениями сырой муки. Однако и прицельная варка по будильнику не являлась гарантом качества. Их надлежало аккуратно слить в дуршлаг, после чего промыть холодной водой. Промывая водой, их не следовало остужать, потому как еще масло или сыр добавлять. И после всех мучений в тарелке оказывалась какая-то высокопробная мерзота. А у моих родителей не водилось ни сливочного масла, ни сыра. Ну, хорошо, будем честны: два дня после полочки отца мы, правда, съедали по кусочку сыра и колбасы на хлебе с маслом. А так основной едой были гречневая каша, чечевица, макароны и хлеб. Но по Колиным пятницам начинался пищевой праздник.

Коля привозил чемодан разной еды, книг, сластей и всяких-всяких заказов. Конечно, эти приезды дарили массу бонусов, не только голые Колины ноги на коротком утреннем диване кухни. Среди приятного было еще и обязательное круглосуточное пребывание родителей в доме. Могли по случаю заглянуть и другие участники их разномастной гоп-компании. Всю субботу мать и дядя Коля проводили в дебатах об актуальной международной ситуации и роли СССР. Думаю, что нынешние ТВ-шоу про политику с их участием собрали бы шокирующие рейтинги. Тут аналитика соседствовала с анекдотом про Брежнева, кремлевская сплетня с рассказами о новых кознях еврейской Колиной тещи. И однажды дядя Коля плакал.

Коля приехал ночным поездом, я уже спала. Утро мое всегда начиналось в пять — шесть тридцать, потому что это время мне представлялось волшебным. Просыпаюсь и слышу громкие рыдания на кухне. Смотрю на будильник, а там без четверти пять утра. Зачем плакать в такое прекрасное время? Решила я, что померещилось. Встаю, направляюсь в душ, а потом к зеркалу поздравлять красавицу с добрым утром. Но нет, не вышло самообмануться — кто-то взалхлеб рыдал на кухне. Все понятно, вероятно, очередная мамина подруга покинута другом сердца, а потому заходится в истерике одиноко на нашей

утренней кухне. Прошла по длинному коридору ближе, спряталась за книжный шкаф и прислушалась. Голосок то мужской, нет, не волк с голосом козы, тот хоть козлят сожрал. Тут реально разворачивалась трагедия мужских рыданий. Опять какого-то поэта-брошенку занесло. И зачем мать их вечно с мостов снимает. Хотя вопрос стоило бы поставить иначе: почему в Ленинграде, городе музеев и мостов, все поэтики хотят сброситься именно с Кировского моста? С того самого моста, мимо которого мама домой с работы идет. Некоторые, правда, хитроумные самоубийцы приходят к нам под подъезд, дабы поймать мать или отца и сообщить о своих суицидальных планах. Потом, к сожалению, ничего не происходит, кроме запираций на кухне, полуночного чая, оранья стихов в ночное небо и еще всякой чепухи... Рыдает громче, икает, опять рыдает. Громко сморкается... Ну вот, сейчас диван промочит, соплей на клеенку нальет, а вытирать-то мне. Ох уж мне эти поэтики!

Я решительно направляюсь на кухню. Все, хватит, сейчас слизкой овсянки наварю, розетку варенья к чаю и вон, пусть уже там, на улице, дышит. Открываю дверь — и, о ужас, на диване, закрыв лицо руками, рыдает дядя Коля. Очки в роговой оправе лежат враскоряку на желтой клеенке стола, следов постели даже не просматривается. «Неужели с ночи рыдает?» — мысль навылет проносится в моей голове. Сквозь длинные пальцы текут ручьями слезы. Обглядываю его дальше: перед клетчатой рубашки абсолютно промок, брюки в разводах. Спрашиваю:

— Кашу на тебя варить, или ты завтракаешь слезами? Смотри не вздумай мне соплей об стол вытирать! — говорю нарочито сердито.

Коля вздрагивает, отрывает ладони от лица. У него, оказывается, огромные глаза с сивыми густыми ресницами. Я вдруг вижу совершенно детский ротик с аккуратным рисунком губ. Смотрит удивленно, но уже не плачет.

— Дядя Коля, ты совсем в слезах потоп до глухоты? Жрать будешь, спрашиваю? — я уже и вправду сержусь.

Его сотрясает смех, валится боком на диван, хохочет. Я настаиваю:

— Может, ты, писака? Или, как его, это, пойэт? — на последнем слогe нарочито икаю.

Ржет. Ставлю кастрюлю с водой на страшную совдеповскую электрическую печку размером с дом. Жду. Вода вскипает, бросаю туда овес, ждать долго.

Присаживаюсь к столу. Коля уже в очках, смотрит в одну точку перед собой, молчит. Потом поднимает на меня глаза-гвоздики:

— Булка, меня Томка бросила, ушла к вдовцу Меньке... с нашим сыном ушла, сказала, что евреи должны жить с евреями. Сказала, что мама была права... — он опять противно всхлипывает и рыгает.

Меня вся эта история приводит в возбуждение. Спрашиваю строго:

— А ты уверен, что к Меньке, а не к Мишке?

Коля вздыхает и объясняет, что точно Менька, потому как он с ним драться ходил. А тот его обнимал, дышал в диафрагму и благодарил за Томку. Потом они горькую пили и объяснялись. Менька оказался хорошим, добрым мужиком. Работает инженером, имеет взрослую дочь и квартиру с удобствами. А потом он к теще ходил просить Томку вразумить, ведь общий сын у них. Теща новый холодильник как раз купила, его вот только принесли. Она открыла дверь, выслушала Колину тираду, отошла, вернулась с гигантским куском пенопласта и заорала, что нет у Томки с ним ничего общего! И больно отдубасила бывшего зятя тем куском пенопласта. Тут Коля хотел было зарыдать, но я хлопнула ложкой по тарелке и стала раскладывать кашу. Коля оживился, он обожал покушать и считал в общем и целом, что «жизнь — часть еды». И это пристрастие, наряду с устойчивым интересом к неверной даме-науке, куртизанке-политике и худлу, сближало его с моими родителями.

Дядя Коля резво выскочил из-за стола и помчался за пищевым чемоданом в коридор. Он, вообще-то, был холериком и хохотушкой. Правда, когда смеялся, оставалось верное ощущение, что захлебывается в слезах. Коля притащил огромную сетку, из которой торчали копченая баранья нога, туча свертков в кальке и туфли. Очень красивые лодочки молочно-белого цвета из мягкой кожи и с украшением на носке. Мне немедленно захотелось их примерить. Коля поймал мой взгляд, вынул и положил мне под ноги. Туфли пришлось в пору. Но? Коля написал мне на бумажке головокружительную сумму. Я перехватила ручку и на той же бумажке нацарапала слово «скидка». Он уступил, а я потащила свои новые летние ножки прятать глубоко в шкаф. Я уже знала, где возьму деньги.

Немедленно одевшись, я помчалась на Конюшенную, там на заре перестроечного Ленинграда в одном из закутков открылась чудесная комиссионка без паспорта. В крохотной сумочке я принесла три пары американских трусиков, присланных моей подругой, старушкой-бахаисткой. Она периодически баловала меня странными посылками, часть которых обкрадывала почта, часть съедали загашники маминого шкафа, но что-то доходило и до меня. Раз я написала ей в письме: «Барбара, ты пакуй надежнее, в СССР дороги длинные, и страна большая». И в следующий раз она прислала конфеты в двухэтажной коробке, спрятав заветные трусики за картонку. Саму коробку волшебная бабка обернула мятой туалетной бумагой и сунула в вещевой мешок. Никому почему-то не приглянулся дар, но у меня появилась валюта. Труссы ажурные ушли к середине дня воскресенья. Вечером на Московском вокзале, у головы Ильича Коля получил от меня сумму. Он зачем-то пожал мне руку выше локтя, глупо улыбнулся и заметил:

— Булка, а ты все-таки человек! Я с утра в полном порядке, после твоей странной каши меня отпустило! Но знаешь, рука у тебя толстая!

Я выдрала руку, минуту соображала, имеет ли смысл его пнуть, но, ничего не решив, просто убежала.

Другой раз уже не я, но дядя Коля спас нас с братом от неминуемой расправы. Мы развлекались в отсутствие родителей на самые разные лады. Например, бомбочки, сложенные из тетрадного листка и наполненные водой. Сложил, налил, бежишь с диким гоготом на девятый этаж, дожидаясь прохожего, сбрасываешь и прячешься. О попадании свидетельствовали вопли и проклятия. Но то редко, чаще ее разрывало где-то по пути следования вниз. И вот-таки попали домоуправу на лысый чурбан и на новый костюм. Снизу донеслось заковыристое ругательство, примерно означавшее, мол, ждите, сейчас я до вас дойду. Вне себя от счастья мы с братом помчались на свой шестой этаж. Дома был лишь дядя Коля, прогуливавший субботнюю Публичку после ночи у очередной дамочки. Коля вышел к нам в коридор и рекомендовал образумиться. Мы держались за стены и хохотали. Но в дверь позвонили, а потом стали колотить каблуком. Все тот же изысканный слог обещал нам муки адовы в благодарность за костюм. Коля взмахом ладони отправил нас в дальнюю комнату, где обитал брат. Сам почему-то понесся в ванну. Голос за дверью сотрясал воздух нещадно. Стало очень страшно.

Потом мы услышали, как Коля открыл дверь и запинаящимся шепелявым голосом спросил домоуправа:

— Водки выпьешь со мной, пока Белка за чекушкой ушла?

Пострадавший заорал о сатисфакции, мокром костюме и милиции. Дядя Коля упал на него и, лежа на домоуправе, долго извинялся уже из общего коридора, мол, пошли, стол ломится, а Белка придет, и конец всему. Потом какая-то возня, и стало тоскливо тихо. Мы затаили дыхание, можно было отчетливо слышать, как стучат сердца подростков. Через какое-то время Коля заглянул к нам в комнату:

— Ну, недоросли, чуть до греха не довели! Хорошо, шея у мужика толстая! — он добродушно улыбался.

Рубаха Коли оказалась разорванной с обеих сторон от плеча до пояса, весь он был красный и взмокший. Единственное, что меня интересовало — это кто такая Белка? Новая Дама сердца? Коля пробормотал любимое всеми «вырастешь — узнаешь» и предложил небольшой тайм-аут на час-другой, а потом попить чайку, пока взрослые не вернулись. Я поплелась к себе делать унылую математику и зубрить английский. Чем там занимался Шандор в своей комнатухе, оставалось всегда загадочным. Брат разминулся со мной во времени лишь в год и четыре месяца, но этот разрыв — бездна, когда тебе тринадцать лет.

Математика категорически не шла: муторные корявые задания, придуманные скучными занудами. Задача: грузовик везет пять тонн песка и едет со скоростью тридцать километров в час, а легковая машина везет пятьдесят килограммов песка и едет со скоростью шестьдесят километров в час. Расстояние между пунктами двести семьдесят километров. Какая машина донесет песок быстрее, если грузовик сделает две остановки через каждый час и на каждой сбросит по две с половиной тонны песка и при каждом сбросе его скорость увеличивается на тридцать километров в час, а машина едет без остановок? Это ведь тихий ужас в таком разобраться. Куда, спрашивается, они едут? Они знакомы? Зачем везти песок на легковушке, если его уже тащит грузовик? Почему грузовик сбрасывает песок и какая связь этого сброса с конечным вопросом? и почему только две остановки? Так я обычно и делала математику, блукая в дебрях исходных данных. В конце концов эту задачку решит мне папа, он ведь в математической школе учился. Он точно решит. Сначала, конечно, придется думать самой в его присутствии, он будет беситься, произносить фальцетом мое имя, а потом от отчаяния убежит к себе и там все быстренько напишет. Останется лишь сдуть готовое в мою тетрадь.

После часа бесплодной медитации на математику я решила переключиться на зубрежку. Это мне нравилось, потому что не требовало рефлексий и скитаний в потемках чьего-то сознания. Учила вслух, из-за чего мой папочка, психолог по первому образованию, имел страшную гипотезу на мой счет. Проводя долгие минуты под моей дверью, он пытался установить, а каково содержание шизофренического бреда дочери. Он и сейчас, затаившись, уже дышал за моей дверью.

Прохожу на цыпочках к двери и кричу, что есть дури:

— Ша-а-а-андор, ты уроки сделал?!!!

Папа как ошпаренный опрометью мчится прочь. Страшно довольная собой, иду на кухню, где папа и Коля варганят нехитрый ужин из бутербродов с витебской бужениной. Слышим звонок в дверь. Я обмерла, неужели опять мокрый управдом? Нет, это мама пришла и поет у открытой двери. У нее абсолютный слух, за ней в любое жилье неизменно едет ее старинная скрипка. Мамино явление всегда было неожиданным вторжением рая. Красивая, необычно одетая, улыбающаяся мама. Все и всё оживали.

За ужином мама рассказала, что встретила грустного управдома с шишкой и синяком на лысом черепе.

— Ипполитович утверждает, что сначала его избили бомбочками злые толстые дети, а потом завалил какой-то алкаш в рваной рубахе. Такой тихий, милый прежде человек, похоже, что зашубовал, — грустно констатировала мамочка.

Она всегда принимала сторону больных и обделенных.

— Бедный, бедный человек, он полагает, что в нашей квартире поселился пьющий снежный человек. Я пыталась его вразумить, говорю ему, мол, голубчик, Ипполитович, помилосердствуйте, здесь живу я, кандидат наук, мой супруг-художник, ученый, мои красивые и умные дети! А он показывает мне пальцем на шишку и отвечает,

что «это — злые дети, а супруг ваш — снежный человек или алкоголик запойный». Я ему: «Миленький, вы спятили? Мой муж — еврей, что вы такое городите?» А он улыбнулся так, знаете ли, сардонически и ответил, что евреев с таким ростом и сорок восьмым размером ноги никогда не видывал. Да и силища там исполинская, чтобы так запросто сто три килограмма живого веса на пол положить. Тут я поняла, что рассказывает он про Колю, и решила не настаивать.

Но с дядей Колей все всегда было неустойчиво: то поблагодарит и спасет, то ведет себя как последний кретин. Вот, например, однажды летом он решил отпраздновать свой день рождения в кругу нашей семьи. Мама убежала в воскресную Публичку, растворилась еще до подъема расширенного семейства. Мне оставила записочку насчет салатов и плова. Пришлось готовить праздничный стол, да еще и селедку чистить и по банкам фасовать. Это сейчас пошел и купил любую селедочную консерву, а во времена деревянных игрушек сельдь плавала в гигантских банках под названием «Иваси». Ее надлежало оттуда выловить, почистить, освободить от костей и разложить по емкостям, снабжая луком и маслом. Некоторые, особо одаренные, вымачивали ивасей в молоке. Мне это представлялось уже беспределом — селедка принимает молочные ванны. Гадость. Но то дело вкуса.

Отец, дядя Коля и Шандор потребовали накрывать в моей комнате, поскольку она просторная и светлая. И вот сидим мы чинно за столом, салаты, закуски. Как вдруг Коля начинает хихикать и замечает, что на моем месте он воздержался бы от приема пищи. У меня подступает ком к горлу, я надуваюсь и обиженно требую объяснений. Он отвечает, что уже совсем жиром заплыла. И тут происходит что-то неожиданное для моего флегматичного темперамента. Сначала я бросаю в Колю столовую ложку, положенную в перспективе супа. Он хохочет. Отец вскакивает и визжит от ужаса:

— Алена, остановись! У Коли день рождения!

От такого предложения я просто зверею, хватаю хрустальный салатник с оливье собственного приготовления и со словами «А вот твоя панама, с днем рождения, кретин!» надеваю его дяде Коле на башку. Еще секунду смотрю, как медленно и верно слотится свежий салатик по его очкам, носу, нарядному свитеру, и дальше убегаю рыдать в ванную.

Вскоре ко мне приходит Шандор, гладит по голове и замечает:

— Ты, Алена, крепкий орешек, уделала десантника. Он так и сидит, обтекает! — братик смеется, братику смешно.

Но я рыдаю, не слышу. Коля плохой, вредный, злой. И вы все плохие. Ухожу от вас. Поеду к бабке. В ванную заглядывает некто в хрустальной круглой шляпе и гроздьями салата на плечах и груди. Просит протереть ему очки, протягивает мне салфетки. Протираю, отдаю. Шляпу не снимает, смотрит, как из пронзенной ноги. Я смеюсь, сквозь слезы спрашиваю дуралея:

— Сколько тебе лет, дядя Коля?

А однажды ранним сентябрем дуралея действительно пришлось спасти. Случилось то, когда отец и мать отдохали, по обыкновению советской интеллигенции, в бархатный сезон на морях. Мы с братом живем одни. Благодать! Еще много долгих лет после райского сада отрочества я буду встречать сентябрь внутренними литаврами. Странный месяц, когда лето уже маленькой точечкой на горизонте, а мокрая разгильдяйка осень еще не развела свои слезы. Утром туман, пропитанный насквозь мелкими брызгами ночи, потом входит плотный теплый свет дня. Еще бывают прохожие в шортах, а вон стоит один, ждет светофора. А рядом девушка в пальтишке, дитенок в шапке, мамаша с коляской в брючках и куртке. Днем и жара возможна, ведь Гидрометцентр официально объявил приход бабьего лета. Хорошая то баба была, которая когда-то

придумала лето в сентябре. Улыбаюсь. Забавно, что у подростков часто буквальное восприятие слов.

5

В своем последнем классе Шандор частенько манкировал домашней ночевкой. Он все больше обрастал друзьями и тайными делами. И я наслаждалась огромным просторством квартиры, тишиной, превращая жилье в территорию мистического. Ровно полгода назад нам наконец-то провели телефонный кабель, дед подарил телефонный аппарат. Счастью моему не было предела: не надо больше собирать и клянчить двушки и бесконечно стоять в очереди у единственной в районе работающей телефонной будки. Да и что там можно успеть сказать, когда вся очередь на тебя пялится через стекло, сердитые мужчины показывают знаками на часы, а дамы комментируют любую твою реплику. А возраст такой, что многое надо сообщить подруге. И ее выслушать. Каждый пропущенный миг — это прожитое врозь, это щелка, овраг, а потом возможная бездна неразделенного опыта...

Проговорила я так вечером с моей московской Моникой часа два. Звонила она, потому что у них в квартире была посольская линия, бесплатно, ну, для них бесплатно. И сидела я на диване в кухне, а за окном темно, жили мы тогда еще без занавесок. У меня только свет торшера. И такая радость, и тишина, и мир, и пустота. Где-то качает меня, лежащую звездочкой на глади морской, теплый бриз, вода объемлет тепло со всех сторон и дает ощущение границ собственного тела. Мне хорошо, глазами в небо высокое, лазурное... Мечтания прерывает звонок телефона, а за ним еще один, еще-еще-еще, звонки долгие. «Это междугородка звонит, длинные звонки, что-то случилось», — очнулось мое сознание из забытья. Подскакиваю на диване. Хватаю трубку с аппарата. От спешки совершаю неловкое движение, трубка летит, несется прочь, пока позволяет резиновый закрученный провод. Падает и повисает на другом конце большущего кухонного стола. Я опять тороплюсь, спотыкаюсь о кота и валюсь прямо лицом в диван. Ухо оказывается аккуратно под трубкой, раскачивающейся на ребре стола. Лежу, трубка больно ударяет в нос. Слышу скрип провода и какой-то страшный хрип:

— Линда... Линда... подыхаю... спаси...

Не с первого раза, но вцепляюсь наконец в трубку:

— Алло, алло, кто это, кто?

В ответ слышу бульканье и хрип, мне кто-то что-то желает сообщить. По крашеной кухонной стене ползут тени. Беру себя в руки:

— С кем я разговариваю? Представьтесь!

Трубка хрипит, исторгает:

— Умоляю, спаси, помираю!

Я уже начинаю звереть, подозреваю абстрактную скотину, которая набрала на спор произвольную комбинацию цифр. Теперь я сама та жертва, с которой ведут разговор по вытянутому в игре фанту. В те времена в репертуар подростковых развлечений входило и такое — набрать некий номер и пытаться познакомиться или даже позвать на свидание.

Хочу уже бросить, но слышу:

— Это Коля, я погибаю..., спаси, ведь твоя мать врач.

И тут понимаю, что это не проходимцы ровесники, затеявшие хорошо мне известную песню. Это — дядя Коля, принявший меня за маму. Он, как и все ее друзья, полагал, что врач — это наследственная харизма, а не образование и навык. Я сразу откликаюсь, не трачу время на рекогносцировку ситуации:

— Говори, Николай, что стряслось, немедленно! — пытаюсь имитировать мамины интонации.

Хрипы становятся еще менее внятными. Из слогов и всхлипов слагается:

— Съел пять килограммов гречи и лег спать, проснулся от дикой рези в животе, сполз с кровати, дополз до сторожки в лесу, егерь дал позвонить... помираю...

Я в панике кричу на всю нашу гигантскую квартиру:

— Идъет! Идъет! Немедленно два пальца в рот и блевать!

Еще минута, слышу глухие звуки примерного исполнения. В трубке что-то скребется, милый женский голос любезно сообщает, что через тридцать секунд наш разговор будет прерван. Я истошно опять воплю в трубку:

— Блюй, Коля, блюй! Тебе не нужна эта жрачка внутри! Блюй, сволочь, блюй!

В трубке зашипело и пошли короткие гудки. Я кладу ее на клавиши и слышу звонки теперь уже в дверь. Мельком взглянула на будильник, а там уже двадцать три сорок пять!

Открываю дверь — управдом! Смотрю, молчу. Он тоже молчит, смотрит недоброжелательно, спрашивает разрешение зайти. Я отвечаю, что еще не достигла совершеннолетия и не могу впустить в дом взрослого крупного мужчину. Родители меня не поймут. Управдом густо краснеет, его лысина покрывается испариной. Начинает мямлить какую-то несусветицу:

— Мне поступил звонок, что в вашей квартире опять кто-то хулиганит!

Я прошу его уточнить, кто может хулиганить, если я там одна, девочка-школьница, практически спала уже. Вокруг подмышек на его рубаше ползут мокрые пятна, он что-то бубнит. Мне это надоедает:

— Дормидонт Ипполитович, шли бы вы спать, что ли!

Он вдруг весь приосанивается и эдак со значением мне заявляет:

— Почему это ваша маменька и вы так меня называете? Меня, вообще-то, зовут Иван Петрович! — противно щурится.

Отвечаю ему:

— Уважаемый Аполлинарий Измаилович, я хочу спать, поздно уже, приходите-ка вы завтра!

Управдом потеет щеками, струйки пота стекают по вискам. Трет ладонью затылок, бормочет что-то на тему спать пора. Удаляется. Думаю про себя: «Тоже мне, не Дормидонт он, не Ипполитович! А кто ж ты тогда? Ну что за люди кругом! Такой вечер опоганили».

В начале ноября вся семья вновь в сборе, на выходные причаливает дядя Коля. Я уже совсем в других сюжетах, как вдруг мама вызывает меня на кухню. Там Коля, как обычно, стоит, опершись поясницей о столешницу рядом с плитой. Видит меня, расплывается в глупой улыбке, наклоняется и берет с дивана сверток:

— Это тебе, спасительница!

Разворачиваю, а там прекраснейший синий свитер с желто-красной полоской по горизонту плеч. Мы потом с братом этот свитер на двоих еще лет пять по очереди на свиданки надевали. У каждого из нас была только школьная форма. Теперь у меня появился свитер. Через год Шандор где-то раздобудет джинсы. И начнется крутежка собачьих хвостов по всем Невским и Старо-Невским проспектам.

Подробности дела открылись мне после отъезда обжоры в Витебск. Итак, Коля решил провести отпуск дикарем в лесу. Мало того, что он поселился одинокой палаткой в заповеднике, так еще и чистку организма решил провести. Голодал, пил чистотел, делал водные дни. Потом в режиме монопитания сварил ведро гречи и съел незаметно за вечер. К ночи его скрутило. Температура поднялась выше сорока двух градусов, жи-

вот раздуло, ноги распухли. Коля упал всем телом с кровати и дальше «буквально на одной воле дополз до сторожки егеря». Но егеря не оказалось на месте. Коля сообразил позвонить на коммутатор, прохрипел цифры нашего телефона. Мама меня благодарилась, в глазах у нее стояли слезы. Удивленная безмерно, я спросила ее, чем она так растрогана. Она ответила, что ведь мы могли потерять Колю! Я пожала плечами, мне трудно было сочувствовать дурасти и обжорству. Я была еще очень юной.

Еще год пролетел незаметно. Самым ярким событием стало поступление брата в вуз. Шандор мечтал о мореходке, родители и дед-морьяк были счастливы его решением. Все дружно ждали ответа из Киева, куда брат послал документы в находившийся там морской институт. А потом был трагический вечер, когда, только зайдя в квартиру, я поняла, что случилось нечто непоправимое. Везде темно, будто отключили электричество, лишь свет торшера на кухне. Снимаю свой пыльный лапсердак, доставшийся мне из теткинских сундуков. Медленно стягиваю ботинки, купленные мною по случаю в обувном магазине для мальчиков. Ну вот, ноги вдеты в тапки, я торопливо захожу в кухню. Там печальные родители сидят в гробовой тишине, каждый считает чайинки в своей чашке. Спрашиваю, поздоровавшись, что за горе приключилось.

— Алена, счастливый ты человек, все тебе хихоньки да хахоньки! Не всем так легко живется. Документы Шандора вернулись... — отвесил мне сразу папа.

Интересуюсь причиной. Оказывается, нельзя туда, если в детстве сильно болел. Я в момент сдуваюсь. Как так? Как, ведь он давно уже не болеет, даже нет аллергии? А вот.

Родители теперь частенько уединяются с братом, секретничают втроем или по парам. Я еще глубже ухожу в свою жизнь, где царят художественная школа и закрытые просмотры в Доме кино фильмов, запрещенных к большому экрану. Так доживаем до лета, когда вдруг узнаю, что принято решение поступать в военное училище под Ленинградом. На меня это наводит некоторый ужас: что скажут мои друзья-пацифисты. Одно дело, если бы он уехал в другой город. А тут прямо под носом. Придется сказать им, что Шандор скрывается в тайге. Меня отпускает. Но похоже, что только меня. Семья чем-то страшно озабочена, но все молчат как рыба об лед.

И вот наконец я застаю эту секретную ложу за тайным заседанием на кухне. Застукала их, поднявшись ночью попить водички. Сидят трое и рассматривают документы. На словах «А с медкартой что делать?» вхожу я. Влетаю, хватаю медкарту, нахожу страницы, где шариковой ручкой про детские болячки, и резко их вырываю, мну, бросаю в раковину, включаю воду. Оборачиваюсь. У матери застывшее лицо африканской маски ужаса. Отец схватился за голову, что-то кричит. Брат улыбается. Я пошла в свою комнату спать.

После инцидента кастрации медкарты семейство меня бойкотировало. Через неделю брат подал документы, еще через две получил извещение о необходимости пройти медкомиссию. Вечером вернулся домой довольный и как будто сильно похудевший. Заглянул ко мне и голосом торговки из «Белеет парус» закричал чванливо:

— Экзамены, экзамены, сдавай экзамены, парень, будешь Родину защищать! — подмигнул. Он не держал на меня зла.

В день первого экзамена, попавшего на утро воскресенья, с Шандором случилось нечто странное. Он не захотел никуда идти, отказывался даже встать с кровати. Папа находился далеко на Сахалине в очередной своей художественной экспедиции. Дома, кроме меня, мать и дядя Коля. Мы трое на кухне, мама рыдает. Ей жалко сына, бедный мальчик, какой стресс, какое напряжение. У Коли, как вдруг выяснилось, другое мнение. Он все это время напряженно смотрел на часы. Потом в какой-то момент очередного маминго захода на рыдания неожиданно схватил ее резко за руку, сжал ее и начал орать:

— Линда, опомнись, ты сейчас своей мягкотелостью парню жизнь ломаешь!

Мама посмотрела на него своими огромными инопланетными глазами и лишь тихо спросила, мол, а что же сделаешь? Коля велел ей срочно принести свою ночную сорочку. Мать бросила на меня беглый взгляд, в нем читалась только глубокая растерянность. Коля настаивал: рубаху ему ночную подавай. Мать сбегала в спальню и принесла свежую, наутюженную ночнушку. Коля мгновенно ее развернул и каким-то ловким стремительным щипком вырвал из материи кусок. Мама только и успела, что ахнуть. Дальше он командным голосом отправил ее переодеваться в эту теперь уже рванину. Она подчинилась. Выходит совсем потерянная и в ночной рубахе. Я уже давлюсь от смеха. Дядя Коля подсакивает к матери и начинает двумя руками возиться в ее волосах. В мгновение ока моя прекрасная мама превращается в Медузу горгону. Коля всовывает ей в одну руку дуршлаг, в другую сковородку. Я уже лежу лицом в диван, рыдаю в голос. Коля орет, чтобы я громче рыдала. Мне натурально нехорошо от смеха. Встав позади матери, Коля ее подпихивает к двери Шандора. Они входят такой странной процессией. Брат вроде как приоткрывает один глаз, но увиденное повергает его в такой шок, что он вскакивает. Коля щипает мать выше локтя, та вопит в голос. Коля страшными матюгами предлагает моему брату подняться, принять душ, одеться и валить в лес на экзамен. Брат пытается через них прорваться. В какой-то момент этой возни он замечает мамин разорванный вид сзади. Опрометью мчится в ванну, через минут пять как ошпаренный бежит одеваться и уматывает из дома. Я в своей комнате лежу на кровати бездвижно. Столько нельзя смеяться.

6

И через год на повестку дня выходит подготовка моего поступления на английское отделение филфака. Так решили родители, потому как мне было все равно. Я себя не мыслила никем, кроме художника, ну в крайнем случае художника сцены или оператора. Но тому не суждено было случиться. Родители продавливали тему английского языка и успокаивали карьерой жены военнослужащего в далеком гарнизоне в случае непоступления. Начался поиск репетиторов. Про историю сразу решили, что подготавливает Коля.

Уже в ходе первого занятия мне стало понятно, что с ним я смогу только провалить экзамены. Но и сам Коля не горел желанием проводить свое время в городе музеев и любовниц, репетиторствуя нерадивую дочь друзей.

А дальше случилось удивительное совпадение всего и всех, что, впрочем, характерно для нашего микромира. В городе, где давно уже никто не скажет точную цифру миллионов жителей, люди «нашего круга» постоянно пересекаются физически и через общих знакомых. И даже больше: любой новый человек оказывается с детства знакомым через цепочки общих друзей, родственников или врачей. Да, врачей или учителей начальной школы. В нашем микромире не принято просто обратиться к врачу, а только по знакомству и лишь к проверенному. И даже если это самый жуткий врач на свете, идти имеет смысл только к нему, потому что так делают все. Вероятно, когда кончатся деньги, кто-то из нас и обратится к другому, без имени и репутации. А ребенка в первый класс тоже отдают лишь к своим учителям, выстраивая длинные очереди. Сын Пупкина, например, учился у Тамары Петровны, она была его указкой и ставила в угол. Кого была — отца или сына? В известном смысле учила обоих: мальчика углом и указкой, папочку выволочками и регулярным сидением за первой детской тесной парточкой. Это чтобы понимал, как детей правильно в жизнь вдевать. Вот видите, потому сын Пупкина и медалист!

К счастью для себя и для меня, родители занимались исключительно приращением собственных одаренностей. А потому были из-под диафрагмы уверены, что ни бо-

лезней, ни смерти нет. Зачем тогда заводить долгосрочные дружбы во врачебном мире? Не надо. Беспокоиться об учительнице начальных классов нелепо, потому что любая из них обязательно нанесет травму ребенку. Учительницу следует просто пережить. А травмы, кстати, они трактовали как глубинные мотиваторы роста. Такая вот философия жизни интересная. Примерно в этом формате подбирали и репетитора по истории.

Они обратились в первый по тем перестроечным временам кооператив «Репетиторы без предела» и обозначили свои параметры. Спустя некоторое время им выписали наряд на мадам Шуркину. Мне следовало ехать к ней на дом в Удельную. Историю я очень любила и понимала. Мне было удивительно, зачем они устроили весь этот балаган. Но я повиновалась.

Мадам Шуркина жила одна в двухкомнатной квартирке respectable сталинки. Как всегда в таких домах, квартира являла неожиданную планировку. Вход приводил сразу в гостиную, а коридор простирался справа и слева подобно рукавам детской распашонки. В этой гостиной мы и занимались. Сидеть приходилось с ней рядом на высоком диване за низким журнальным столиком. Еще один одиозный элемент обстановки интеллигентского дома. Почему люди этой прослойки никогда не вдумывались в простые вещи? Например, зачем использовать низкий журнальный столик в дуэте с высоким диваном? Почему надо сидеть на диване рядом, а не позволить собеседнику занять кресло напротив? Знаю, знаю, в нашем микромире это как объятия — общупал оппонента на предмет оружия и спокоен. Усадил с собой на диванчик — знак доверия и принятости. Только вот шея потом кривая и болит, но ведь знания требуют жертв. За опыт ничего не жалко! В этом пункте подобная логика взрывала мою фантазию. Сочетание «за» и «опыт» уж очень походили на сами знаете что.

За журнальным столиком гигантская валькирия Шуркина смотрелась особенно groteskно. Надо отдать ей должное, что в отличие от репетиторов по русскому языку она имела четкий план занятий, излагала материал последовательно и интересно. Кроме того, мадам многое и запросто диктовала. Занимались по три часа кряду. После первых полутора она делала перерыв на чай. Чай, правда, полагался только для меня. Удалялась Шуркина через левую часть распашонки в недра своей квартиры и появлялась с жостовским подносом, уставленным фарфоровыми чашками, чайником, сахарницей и конфетницей. Она щедро угощала шоколадными конфетами. В ассортименте преобладали «Золотой петушок» и «Белочка». Себе она потом еще притаскивала молочник и козинаки. Каждый раз наблюдая смешение кофе и молока в ее красивой чашке, я вспоминала сны Веры Павловны из прекрасного романа «Что делать?». В сотый раз я думала, какой та, в сущности, была гедонисткой. Пила кофе с молоком моя репетиторка причмокивая. Она вообще являлась невероятной сладострастницей. Рассказывает исторические сюжеты и при явлении в них мужчин краснеет и пыхтит. Полководцы приводили к увлажнению глаз. К слову, совсем не от слез, а от параллельных мечтаний. Встречались мы по несколько раз на неделе. В один из разговоров Шуркина обязательно «приводила обувь в порядок». Делала она это непосредственно во время нашего занятия. На журнальный столик мадам выставляла все пары туфель, сапог или ботинок, которые в текущем сезоне находились у нее в обиходе. Доставала детский крем в баночке и зубной щеткой его старательно втирала в обувь. Мне, признаться, казалось сие столь революционным, что отодвигало чувство омерзения на второй план. В перерыве она учила меня, как правильно пользоваться обувью, почему детский крем и сколько втирать. Раз на пятый мне уже очень хотелось натереть ей эту обувь на щеки. Но побеждали уважение к ее знаниям и любопытство. Многие из лекций мадам было результатом ее самостоятельных научных изысканий. И так мы дожили с ней до середины июня, когда вдруг она объявила:

— Все, Алена, новейшую историю с компартией и прочей «пошлотой» лично я излагать не намерена, — произнесла она торжественно и удалилась.

Вскоре Шуркина вернулась, торжественно неся торт с четырьмя свечами. Поймав мой изумленный взгляд, она объяснила:

— Это месяцы, проведенные нами вместе!

Затем она напялила мне и себе на головы по бумажному колпаку, велела мне задуть свечи и выстрелить из хлопушки. Я впервые в жизни была обескуражена! Мы съели по куску торта, выпили чай «Эрл Грей». Она все время что-то щебетала, я не слышала ни слова. Глядя, как я засовываю лапу в босоножек, Шуркина произнесла следующее:

— Алена, вы, конечно, хорошая, деликатная девочка. Мне было приятно с вами заниматься. Но если начистоту, гуманитария — это точно не ваше призвание.

Я аж вспотела от такой заявки. Прочитав в моих глазах гневный вопрос, она продолжила:

— Во-первых, вы рано выпрямились, у вас еще один босоножек на очереди. Во-вторых, не надо так остро реагировать, выйдете замуж, нарожаете детей, воспитаете обществу новых членов. Нечего вам делать в университете, Леночка! Не-че-го! Пустая трата времени — и не поступите, и расстроитесь.

Я стояла в ужасе, перед глазами побежали кадры из фильма про мои курсы кройки и шитья, танцпол в военных училищах, свадьба в платье из занавески, далекий гарнизон на Северном полюсе. Слезы потекли в три ручья. Шуркина изобразила крайнее изумление и фыркнула. Дальше мадам открыла дверь квартиры и жестом пригласила меня на выход. За спиной я услышала ее напутственное:

— Прощайте, Алена!

Домой я ехала много часов подряд, постоянно пропуская свою остановку то в автобусе, то в метро. Все плыло перед глазами. Самое для меня сейчас забавное, что я прежняя и понятия не имела, о какой «гуманитарии» речь! Все мое горе увязывалось исключительно с перспективой быстрого принудительного замужества и скорого отъезда из Ленинграда. Кроме того, мне никогда не нравилось шить.

Не помню, как доплелась домой уже к позднему вечеру. А там Коля, и я вдруг понимаю, что это — вечер пятницы. Такой длинный, нелепо сложенный дядька с маленькой лысой головой в очках вышел в коридор меня поприветствовать. Встреча с ним почему-то повергла меня на самое дно трагической бездны. Прямо в босоножках я пошла к себе, села на стул и стала уже в голос рыдать. Коля испугался, стал страшно суетиться, бегать из кухни ко мне в комнату то с водичкой, то с мокрым полотенцем. Он все время долдонил одно и то же:

— Кого же сначала вызвать — «скорую» или милицию? Кого вызвать-то? Горе-то какое, горе!

Минут через пятнадцать я наконец заметила его бессмысленные мельтешения и спросила, что случилось. Дядя Коля ответил, выцеживая каждое слово:

— Ты так рыдаешь... тебя... это... изнасиловали... ну, куда звонить-то сначала? — спрашивает потерянно.

Смотрю на него пристально, молчу, но потом опять начинаю плакать. Коля уходит, возвращается с тазом холодной воды, резко выливает на меня. Я ошеломленно подсакиваю:

— Да что ж за день-то такой сегодня? Вы все сговорились, что ли? Шуркина отказалась про коммунизм рассказывать и выгнала меня из гуманитарии! Ты холодной водой ни за что обливаешь? Почему такой идиотизм? Почему? — опять рыдаю.

Теперь уже Колина очередь смеяться. А он делает это столь громко и упоительно, что я окончательно выхожу вон из своих страданий. Беру одежду сухую из шкафа, плетусь в душ. В голове лишь одно — «банда сумасшедших!»

Когда я пришла на кухню, дядя Коля уже ждал меня там с чаем и бутербродами. И пока я жевала, он мне объяснил:

— Знаю я эту Шуркину еще с тех времен, когда она не была мадамой. Она — баба не злая, но с сумасшедшинкой. Ты, конечно, девка не бесталанная, но ленивая и упрямая. Короче, придется тебе самой историю партии учить. Привезу тебе всякого хлама, мусорных этих книжек про коммунизм и иже с ним.

Затем он велел мне укладываться и забыть про Шуркину. Но забыть о ней оказалось непросто. В эту ночь она ворвалась в мой сон на метле с диким ревом байка. Эта тетка огромного роста и внушительных габаритов носилась у меня по потолку и полу на своей метле и орала на весь дом:

— Вон из гуманитарии с позззором! Курсы кройки-кройки-и-шитья-шитья! Гарнизooooон, гарнизоооон! Сужжжженный-ряжжжженный-наряжжжженный! Ахахахаха!

Втайне от меня мама попросила дядю Колю переговорить с Шуркиной на правах бывшего друга сердца. И как-то, вернувшись домой, я услышала охвостья их диалога.

— Коля, но почему она не довела занятия? Там ведь целый кусок выпадает! Она, конечно, выучит сама, но ведь Шуркина деньги с нас за всю историю взяла?! — мама явно недовольна случившимся обманом.

И слышу уставший Колин голос:

— Линдочка, я прожил с ней весь универ, думал жениться. И готовит отлично, и квартира есть, и поговорить есть о чем. Но, знаешь, тяжелая она очень...

7

Я не задала маме ни одного вопроса, хотя таковые, конечно, возникли. Историю я выучила, поступила. В начале девяностых годов Коля возил нам еду из Белоруссии. Родителям не платили никакой зарплаты, у меня иногда были переводы с английского, но на эти деньги можно было только крупу приобрести. Он, конечно, нас попросту спас. Еще через пару лет я ушла замуж и теперь уже лишь изредка заставляла Колю, навещая родителей. И это было в другом адресе. Они переехали.

А потом я уехала в далекую Многолию. В те времена связи с родиной никакой не имелось, кроме переписки. Отец мне не писал. Мама дважды. Вернувшись, я узнала, что Коля умер. Как так? Почему? Ведь он активно занимался спортом, не пил, не курил. Слушайте, Коля ничем ведь и не болел. Ему должно было исполниться только сорок! Мама считала, что сожравший его рак печени был следствием череды Колиных неудач. С начала девяностых в его университете пошли сокращения. Как преподаватель «истории партии» дядя Коля оказался в числе первых на выход вон. Его пригнала какая-то политическая активистка из Москвы, наобещала золотые горы взамен на тексты программ и воззваний к избирателям. Пару лет она подкидывала ему работу, он стал литературным негром, но деньги забирала себе. Коля оказался совершенно без работы и без привычных хобби. Фарцовка теперь тоже была девальвирована. Коля стал редко бывать в нашем городе с изменившимся именем. Он не хотел больше говорить о политике, стал угрюмым. Потом и вовсе исчез. За месяц до смерти он приехал к моим родителям попрощаться. Весь черный, изможденный. Его привезла младшая сестра, без умолку трещавшая про то, как она варит для Коленьки специальные волшебные грибки. Про то, какой Коленька молодец, как все на племянников переписал! А что сын, что сын-то? Уж давно в Израиле с мамой и отчимом. Даже не

позвонит оттуда, не спросит, в какие деньги Колькино лечение встает! И еще чего-то несла и несла. А Коля молчал все два часа и смотрел на маму. Потом уже в дверях вдруг задержался, залез за пазуху и вынул крохотный сверточек. Вот только и сказал:

— Булке отдайте... она знает... Прощайте, мы больше никогда не увидимся.

Мама ушла в комнату, вернулась со сверточком в руках.

— Что это? — выдавливаю из себя вопрос, мне трудно дышать.

Мама печально пожимает плечами и предлагает мне самой потом дома открыть. И вот я дома дрожащими руками срезаю бумагу и достаю крохотную шкатулочку. Долго пытаюсь понять, как ее открыть. Наконец случайно на что-то нажимаю, и — о маленькое чудо! — выдвигается крохотная сценка с фарфоровой балетной куколкой. Она медленно вращается под звучание приятной небесной музыки. И я сразу оказываюсь там, где дядя Коля мне, восьмилетней, больной ветрянкой девочке, читает вслух «Стойкого оловянного солдатика».

Тогда вся гоп-компания была вынуждена по очереди сидеть с толстой девчонкой, мазать зеленкой ее прыщи и читать ей книжки вслух. Дядя Коля тоже попался, потому что был проездом в Ленинграде. Вечером принес красивую книгу невиданных размеров — сказки Андерсена с великолепными рисованными иллюстрациями. На девочке, замерзшей в новогоднюю ночь в сугробе, я начала натурально рыдать. Коля крайне изумился и отметил, что, имея такие пышные формы, как у меня, плакать просто неприлично. Но это совсем не утешило. Тогда он спросил, а чего бы мне хотелось. Я ответила, что шкатулку с маленькой балеринкой из «Солдатика». И тогда Коля сказал, что попросит одного знакомого антиквара такую достать. Но за это я должна была кое-что пообещать. Я согласилась.

— Обещай, что, когда я умру, ты не будешь плакать.

О, это было легко пообещать, Шалтай-Болтай был мне ничем не дорог. Я радостно кивнула в ответ, а дядя Коля засмеялся.

Я не нарушила обещания, будучи взрослой, ведь я не видела Колю неживым. Жаль только, что музыкальная шкатулочка бесследно исчезла в моих многолетних скитаниях.